

# Эдвард Кулибаев



## ДЯДЯ ОЛЬМЕС

Мы жили в маленьком городе.

В котором многие знали друг друга по имени.

Это становилось особенно заметно, когда бывали субботники, и все выходили убирать мусор, сжигать старые листья и сажать деревья, которые в дальнейшем вырастали, становясь большими.

И эти большие деревья обступали наш маленький двор – двухэтажные, старой «сталинской» постройки кирпичные дома с толстыми стенами и печными трубами.

Дома образовывали прямоугольник, внутри которого было тоже много деревьев, тоже больших, была утоптанная желтая площадка, на которой играли в футбол и штангарт, были крашенные деревянные беседки, столбы для развешивания белья и двухъярусные, почерневшие от времени сараи, в которых хранили дрова, черный уголь и разные старые вещи.

Пятками я упирался в прохладную шершавую кирпичную кладку печной трубы. Я сидел на крытой волнистым шифером крыше нашего дома, куда вылез через квадратный чердачный люк, окованный красноватой жестью – благо, он был открыт в тот день.

Дядя Ольмес... Я следил за ним с помощью подзорной трубы – склеенный в трубку лист тонкого картона, заткнутый с двух сторон стёклами от наручных часов (выпрошенных у дедушки под обещание не лазить на крышу – да, да, что поделать!).

Он появился, как обычно, со стороны громадного, заросшего полынью пустыря, на котором там и сям попадались ржавые, часто уже полувросшие в землю большие тяжелые шестерни, останки свинцовых аккумуляторов, разных размеров болты, гвозди, обрезки труб и множество других, представлявших несомненный интерес железок.

Дедушка пояснил мне как-то, что раньше на месте пустыря располагался районного масштаба машинный двор, где зимовала сельскохозяйственная техника. «Намечается, что теперь здесь вырастет новый Дворец культуры», – говорил он. Я долго не мог представить себе, как же он вырастет, этот Дворец культуры, пока не стал читать газеты. «Метафора», – так объяснил мне это дядя Ольмес.

Он шел по хорошо утоптанной тропинке, не загораживаясь ладонью от солнца, хотя оно мешало ему, слепя глаза, которые могли у него, как он говорил, «вы-



держивать яркость до шести тысяч люкс. Но редко, – объяснял он мне, – бывает необходимость идти на такой риск». Быть может, поэтому-то часто он и надевал тёмные очки – в альбоме сохранилось несколько таких снимков.

Краем глаза я успел заметить, как наш кот Графиня, спавший в тени соседней кирпичной трубы, начал медленно сползать по гладкому шиферу крыши со всё возрастающей скоростью. Я даже не стал отвлекаться от наблюдения за тропинкой, поскольку такое случалось на моих глазах неоднократно, – Графиня никогда и не думал просыпаться.

Вскоре он достиг края кровли и исчез, упав вниз. Послышался характерный глухой металлический звук, словно бы от свалившегося с небольшой высоты рюкзака, плотно набитого гайками, гвоздями и болтами. Через некоторое время, минут через десять, кот Графиня как ни в чём ни бывало снова вылез на крышу через чердачное окно и улегся спать чуть повыше прошлого места, вслед передвинувшейся тени.

Дядя Ольмес уже почти пересек нашпигованную железом пустошь и выходил теперь к дальним воротам футбольного поля, где, невзирая на погоду, каждое воскресенье рубились друг с другом команды рудника ускоренных работ и обогатительной фабрики – в жёлтых и зелено-полосатых, с нарисованными номерами майках, чёрных сатиновых трусах с нашитыми по бокам белыми полосками, толстых шерстяных гетрах и самых настоящих футбольных бутсах! Черных, твердых!

Зрителей обычно собиралось много. Некоторые приходили даже с семьями, приезжали, особенно из Северного и Восточного городков, на легковых машинах, мотоциклах с колясками и велосипедах уже позабытых марок.

Трибун, разумеется, не было, если не считать нескольких скамеек, – но там обычно сидели запасные и аккуратными стопками лежала одежда самих играющих, так что зрителям приходилось вытягиваться вдоль всего поля. И, несмотря на то, что это запрещалось, уже к середине первого тайма они оказывались почти у самых боковых линий, которые к игре обязательно подновлялись: попеременно каждая из команд привозила с собой ведро с известкой. И потому, когда мяч вдруг отскакивал от футболистов и выходил из игры, и надо было вбрасывать аут, болельщикам приходилось быстро расступаться, причём задние их ряды могли в тот момент и не догадываться об этом. Помню, однажды при этом Рихарду Карловичу Нурлицу, жившему через три дома от нас, очень сильно отдавили правую ногу. Из-за этого происшествия игра была остановлена тогда на несколько минут (выяснение обстоятельств, шум-крик и так далее), а самого пострадавшего пришлось отвезти домой на машине. Впрочем, Рихард Карлович, как все единодушно признавали, был человеком стойким, упорным, волевым, поэтому-то он и сумел, наверное, справиться с нанесённой ему травмой – по крайней мере, в следующее воскресенье он уже снова торчал на футболе, на своем излюбленном месте – точно у центрального флажка.

Я пропустил только две игры: одну из них команда РУРа, за которую я болел, проиграла с разгромным счетом 6:17. Вряд ли, конечно, из-за меня.

Часть матчей я смотрел с крыши – это когда меня не пускали на стадион. Все остальные я простаивал за воротами: ведь больше всего я любил, как взлетает, выхватывая из воздуха мяч, вратарь. Я не любил, когда мяч попадал в ворота, даже если забивали Обога­тительной фабрике. Сетку натягивали на них в дни игр.

Дядя Ольмес, я это отчетливо видел в подозрную трубу, пользуясь тем, что на поле никто не играл и не тренировался, был уже в центральном круге.

Сам он к мячу не прикасался, а на матчах бывал крайне редко, отговариваясь тем, что «игровые концепции, исповедуемые обеими командами, лишний раз напоминают ему, что в мире ещё много хаоса». Я понимал эту фразу, не поддававшуюся для меня расшифровке (концепции?! хаос?!), лишь по его интонации – снисходительной и одновременно содержащей вызов, и даже, как сказал бы Заунд Ле, дерзкой. Я понимал её так: дяде Ольмесу не нравилось, что игроки без толку кричат на поле, размахивают руками и часто бегают за мячом одной большой кучей – пользуясь этим, один руровский защитник по прозвищу Отец ухитрялся даже выкурить за игру несколько папирос. Ещё мне казалось, что дядя Ольмес тоже не любил, что забивают голы. Я видел: как-то он поморщился при этом – потому-то я считал, что понимаю его, и даже был где-то на его стороне, но несмотря на это всё равно продолжал ходить на футбол. В конце концов, я же не знал, что такое хаос, и сожалеть мне поэтому было пока не о чем.

Впрочем, и сам дядя Ольмес всё же иногда появлялся там. Правда, это случилось лишь тогда – и то не всегда – когда на матчи приходила Аннель Нукушева. Разумеется, в этих случаях – исключительно во всех – присутствовал и Заунд Ле. Почему-то он предпочитал быть слева от Аннель. Дядя же Ольмес располагался несколько позади них, справа, но при этом, в отличие от Заунда Ле, не выказывал никаких эмоций по поводу происходящего и всё время хранил стоическое молчание.

«Ольмес, – как-то, когда мы уже возвращались домой после очередной футбольной баталии, поинтересовалась Аннель Нукушева, – неужели игра так захватывает вас, что вы даже не промолвите ни слова?» Дядя Ольмес, несколько смутившись, ответил, что «видите ли, Аннель, меня интересует не собственно игра, а круг тех ассоциаций, которые она вызывает». «О! Это, наверное, очень интересно, вы мне расскажете об этом, Ольмес?» – тут же попросила заинтригованная Аннель Нукушева, а Заунд при этом почему-то немного ссутулился. «Разумеется, Аннель, – ответил дядя Ольмес явно потеплевшим голосом, – ассоциации – это та область, из которой я никогда не делаю секретов!»

После этого Заунд тоже было попробовал сосредоточиться на ассоциациях, но его попытка провалилась уже на четвертой минуте тринадцатого матча сезона, когда за подножку у самой линии штрафной площади «фабрикантов» был назначен одиннадцатиметровый удар. У него был совсем другой характер, у Заунда Ле, это признавал и он сам.

Относительно же дяди Ольмеса мне оставалось только пытаться определить ширину круга его ассоциаций – сами они остались мне неизвестны: рассказ о них для Аннель Нукушевой дядя Ольмес перенёс с восьми на десять часов вечера – дедушка уснул его куда-то со срочным поручением – в это время мне уже полагалось спать.

Суть моей методики была крайне проста: я старался уловить миг, когда дядя Ольмес всё-таки начнет замечать, что происходит на поле, и по разнице во времени между этим миготом и началом встречи определить, в минутах, конечно, диаметр ассоциаций дяди Ольмеса (с понятием «диаметр» и числом «пи» меня ещё полгода назад познакомил Каракат Л. С., когда я помогал ему раскатывать лепешки).

Я следил за дядей Ольмесом, тоже забывая про игру. Я не спускал с него глаз, но взгляд его был неизменно устремлен поверх играющих, вдаль, за желтеющие там сопки, расщепляя облака на горизонте.

И всё же, несмотря на то, что мне так и не удалось установить диаметр круга ассоциаций дяди Ольмеса, и я не слышал самого его рассказа для Аннель Нукушевой, я верил, что обладал более верным и мудрым ключом к его ассоциациям, тем, что дал мне в руки тот удивительный вечер, что осталось и живёт во мне до сих пор.словно второе сердце.

Ассоциации дяди Ольмеса!.. Неожиданная заинтересованность Аннель Нукушевой, короткое, но не упущенное мной замешательство моего дяди. Что ещё? Наверное, само слово – незнакомое, непривычное на слух, вызвавшее в памяти протяжно свистящий, срывающийся с проводов ветер. Следовавшее за мной весь остаток того дня. Я до сих пор помню день 11 апреля 1961 года, его атмосферу – время, конечно, стирает остроту ощущений, но стоит мне лишь задуматься об этом – и будто влажное дыхание моря касается моего лица, хотя море – оно было не впрямую, оно, наверное, обкусывало берег там, за черепичными крышами домов.

В тот вечер я выходил во двор, смотрел, как соседи, пряча кости в ладонях, играют в домино, возвращался домой, бесцельно бродил по комнатам; снова был во дворе, через мост пробежал к бабушке, который поливал из лейки наш огорожок – там пахло травами и землей, возвращался назад, наблюдал, как к лампочке над подъездом слетались мохнатые бабочки и какие-то неизвестные зеленые насекомые, и снова заходил домой. Я был посторонним в тот вечер, прохожим, случайно забредшим странником – я как бы видел себя и весь наш двор со стороны, я был участником и наблюдателем одновременно, и даже наблюдателем как бы чуть раньше: меня окликали доминошники, я знал – сейчас я повернусь к ним и спрошу, зачем я им понадобился, и я словно бы видел себя поворачивающимся, и я поворачивался, спрашивал, я подходил к ним, я чувствовал, как ступаю по асфальту, и одновременно видел себя чуть сверху и сзади, я видел свои ноги, обутые в уже разношенные сандалии, я видел, что мне нужно будет обойти бельевого столба, я обходил его, садился на скамью рядом с нашим соседом Василием Ивановичем, я смотрел, как идёт игра, и в какой-то момент, когда до конца её оставалось ещё далеко, когда на базаре ещё оставались кости, я отчётливо почувствовал, увидел: «пять-пять» – игра закончится выкладыванием этой кости. Я не стал ничего говорить, встал и пошёл прочь, но, может быть, всё-таки что-то сказал, – я не оборачивался, но знал: все прекратили игру и смотрят мне в спину. Я чувствовал всю эту неестественную свою раздвоенность, но ничего не мог поделать, вырваться из неё – я был словно болен, был будто в бреду. И всё это время – бесконечное, нескончаемое – во мне колдовским зерном, холодея грудь, прорастало ощущение чего-то надвигающегося, неотвратимого, связанного именно со мной, с дядей Ольмесом и, несомненно, – с ассоциациями дяди Ольмеса. И это чувство неизбежной встречи с чем-то, ещё никак себя не проявившим, всё крепче и всё глубже охватывало мою душу – оно сгущалось, как сгущались и сумерки, из которых, казалось, и вытапливалась эта предстоящая мне тайна.

Тот странный вечер завершился загадочным феноменом – знаком, как сказал мне наутро бабушка: несколько раз прикрывал я форточку, не запирая её на поворотную задвижку – и каждый раз лёгкий порыв ветра распахивал её вновь. Я перестал упорствовать в конце концов.

Какие-то лица, голоса, набегающие, как волны прибоя, обрывки далекой музыки – я уже почти засыпал, – когда вся эта невнятная мешанина вдруг смолкла, исчезла, сменившись ясно ощущаемой паузой, в которую постепенно начали просачиваться новые краски и звуки, пока я наконец не оказался в центре ярко освещённой, раздвигающейся во все стороны площади, уходящей вглубь разноцветных домов узкими коридорами улиц, по одной из которых меня и увлекла разноязыкая, разряженная толпа, в которой я почувствовал себя сразу вдруг удивительно уютно присоединившись к общей искрящейся радости – радости, что светилась в каждом лице, для которой я не смог отыскать сразу конкретного повода или причины.

Я озирался кругом, уже идя той узкой улицей, – вокруг были смеющиеся, улыбающиеся лица, литавры, барабаны, флейты; откуда-то сверху сыпалось конфетти – его пригоршнями разбрасывали с балконов, словно у каждого, кто там стоял, было заранее заготовлено по целому ящику. Я был в центре весёлого урагана – клоуны, домино, гигантские зайцы, точеные мексиканцы в огромных сомбреро, множество масок, множество невиданных мной до того нарядов и костюмов, описывать которые бесполезно; встречались и просто нарядно одетые люди, но их было совсем немного – и мне показалось, а может, так было и на самом деле – в город, затопив его собой, без предупреждения ворвалась сверкающая карнавальная толпа, принесла праздник, застав горожан врасплох.

В этот-то момент мне и почудилось, что пахнет морем. Вернее, не самый запах моря почувствовал я, а острое ощущение его близкого присутствия – и я внезапно увидел его само – море, бирюзовое на мелководье. Пять или шесть громадных белоснежных кораблей, перекрывая друг друга, стояли у пристани. Но это длилось недолго: я снова был в коловращении масок – многие шли обнявшись, пели песни, целовались, посылали друг другу воздушные поцелуи, бросали цветы; шел обмен монетами, значками, лентами и вообще всем, что можно было в тот момент подарить или обменять.

Я уверен: говорили на разных языках. По законам снов я понимал всех – но как понимали друг друга они? Жесты, интонация, сердце?

Старались рассказать что-то забавное, вызвать улыбку, смех, но в основном знакомились, узнавали друг друга,

– ...Да! Это совсем недалеко отсюда, неужели не слышали? Как?

– ...Тегусигальпа! О!

– ...я ловлю рыбу. Я рыбак. Ловлю рыбу. Мне иногда попадается большая рыба.

– ...Конечно! Знаю, не раз бывал... Там ещё небольшой ресторанчик на углу...

– ...нет, я не повар – пекарь! Хлеб! Пекарь!

– ...приезжайте непременно. В любое время!

– ...В том-то всё и дело... разумеется, разумеется, друг!

Арлекин в высоком конусовидном, обтянутом голубым шелком колпаке, не переставая, наигрывал на губной гармонике что-то бравурное, две удивительно красивые девушки, чуть ниже его ростом, наряженные пастушками, обмахивали его веерами – были ли они знакомы? Не знаю, не уверен.

Мы шли шумной весёлой толпой, как на демонстрации, возможно, лишь чуть более быстрым шагом.

Наверное, было всё-таки утро, или, вернее всего, около одиннадцати; небо ещё не теряло свой глубокий голубой цвет. Солнце палило черепичные крыши

домов, но лучи не проникали в проем улицы. Здесь царила прохлада. Голубая нежная дымка растворялась лишь у самых крыш.

Огромный ярко-желтый шар – он занимал почти полпроёма – запустили далеко впереди. Медленно поднимался он вверх.

Откуда-то сзади я услышал квакающий звук автомобильного клаксона. Я обернулся, обернулись многие – толпа, словно расходящаяся молния, расступалась перед человеком, одетым во что-то белое, ниспадающе-длинное, отдаленно напоминавшее бедуинский бурнус, но вместо капюшона на голове его был зеленый лоснящийся цилиндр; этот-то человек и держал в руках старинный медный клаксон величиной с локоть. Лицо его было размалевано. На удивление, он двигался быстро, он даже ухитрялся, подпрыгивая, повернуться вокруг своей оси. И все сжимал и сжимал резиновую грушу своего клаксона, прокладывая дорогу тем, кто следовал за ним: длинной, человек в двадцать змейке сцепившихся за руки. Они все были одеты в новенькие, с иголочки, фраки, полосатые, чуть длинноватые брюки; на головах у них красовались те же зеленые цилиндры. Последний из них тащил за собой небольшую тележку. Огромнейший арбуз величиной с надувной пляжный мяч перекатывался в ней.

Они прошумели мимо нас, горланя какую-то залихватскую песню, и толпа сомкнулась за ними.

Желтый шар уже висел над домами, но не улетал выше, наверное, кто-то удерживал его за веревочку, которой не было заметно.

Я перешел с мостовой на тротуар, где было чуть разреженнее и оттого легче идти быстрее, и устремился вслед за отчаянно веселыми джентльменами, туда, откуда уже доносился неясный, волнами накатывающий рокот голосов – наша улочка, вероятно, впадала в более широкую.

Я спешил, обгоняя смеющихся мужчин и женщин. Арлекин и прекрасные пастушки помахали мне руками – неужели уже тогда я почувствовал, что сон может оборваться внезапно, и я могу так и не узнать, кем и для кого устроена эта феерия?

Я ошибался: улица не впадала в другую – она выводила на гигантскую площадь, дома на дальнем краю которой, казалось, вырастали из-за горизонта.

И над этими дальними домами, полувидны, лежали дынеобразные продолговатые хребты серебристых, голубых, оранжевых дирижаблей. Лишь один из них был виден полностью, и то, наверное, потому, что собирался лететь. Медленно развернулся он в нашу сторону и через несколько минут проплыл над площадью, дождь разноцветных листовок высыпал он из своей гондолы.

Площадь была уже запружена, но люди всё прибывали и прибывали со всех сторон. Видимо, здесь и должно было произойти главное действие.

Нечто внушительных размеров, высотой с пяти-шестиэтажный дом, громоздилось в самом центре площади – до поры оно было укрыто белой материей, но под ней легко угадывался стремительный сигарообразный контур. Примерно до половины своей высоты это таинственное тело было окружено деревянными строительными лесами, на которых копошилось человек тридцать в синих одинаковых комбинезонах. Некоторые из них то и дело исчезали под покрывалом, лишь на секунды распахивая матерчатые дверцы.

Между мной и непонятным сооружением было метров двести пятьдесят – триста.



По той лихорадочной суете, быстроте, с которой сновали синие комбинезоны, некоторые из них, видимо, сделавшие свою часть работы, уже спрыгивали с лесов, отбегая в сторону; по тому, как все вдруг, не сговариваясь, устремились к центру площади, я понял, что что-то должно произойти в самое ближайшее время. Я растерянно оглянулся: люди почти бежали, спеша оказаться как можно ближе к окутанной покрывалом сигарообразной башне.

Я понял: мне уже не удастся быть в первых рядах.

Я боялся застрять где-то посередине. Я решил подняться на галерею, опоясывающую на уровне третьего этажа длинный серый украшенный флагами дом, стоявший прямо напротив.

Я пробирался по лестнице, заполненной веселыми людьми, я вглядывался в их сияющие, освобожденные улыбками лица, вслушивался в их разговоры и терялся в догадках: что же это могло быть?! Что за загадочная башня? Что за захлестывающая всех радость?

Я видел, я почти что знал: на всей этой огромной площади можно было бы найти разве что около сотни тех, кто бы знал друг друга раньше. Я чувствовал: какие-то дни, быть может, даже часы назад всех, кто сейчас был здесь, разделяли тысячи обстоятельств, тысячи километров суши и моря. Рядом со мной молодой негр расспрашивал о чем-то пожилого перуанца, а может он был эквадорцем? Пыль далёких своих континентов хранила их одежда.

Но ведь кто-то, кто-то должен был всё это знать! Что всё это будет. Произойдет. Кто-то должен был всё это предвидеть и готовиться – ну, хотя бы те, кто работал у башни: ведь башня, или что там в действительности скрывалось за материей – ведь оно было явно сооружено для этого дня. Специально. Или пилоты дирижаблей – они наверняка знали. Или те, кто печатал розовые листовки – мне так и не досталось ни одной – ведь они тоже должны были всё знать. И Арлекин! Может быть, он тоже все знал заранее?

Я не знал, что и подумать, за что зацепиться, но одно было точно: да, корабли и дирижабли прибыли только сегодня!

Что-то, что-то громадное вдруг сдвинуло всех со своих мест, собрав здесь. Что-то привело их сюда, и я видел – это было гораздо сильнее, чем праздник или карнавал, потому что даже самый шумный, самый веселый праздник не делает людей равными, он оставляет их теми, кто они есть – богатыми и бедными, избранными и отвергнутыми. Даже самый лучший в мире праздник заканчивается, не в силах разрушить то, что разделяет людей: происхождение и богатство.

«Праздники обманывают, – кольнуло вдруг в сердце, – они не договаривают самого главного».

Нет, это был не праздник! Ткацкий станок судеб сплел свой самый прекрасный узор. И этот узор начинал жить своей собственной жизнью.

Какое бы подобрать слово? Всеобщая симпатия... солидарность... единение... Единение! Мне кажется, мне удалось отыскать это слово. Единение! Дух единения царил меж всеми. Никто не отделял себя от других – наоборот. Как это объяснить? Все были возбуждены, взволнованы – будто им только что сообщили долгожданную весть, которую никто уже и не надеялся получить, или будто бы каждый или все вместе получили во владение чудесный дар. Нечто, что решило сразу же множество проблем, погасив долг, расплата за который считалась уже невозможной.

Все улыбались, даже те, чьи лица уже позабыли, что это такое. И все эти улыбки были словно подкреплены уверенностью, что это теперь навсегда будет с ними и никогда не исчезнет.

И ещё – все были похожи на чудом спасшихся потерпевших кораблекрушение – это было последнее, о чем я успел подумать, прежде чем достиг барьера галереи.

Я пробрался к нему, когда леса – они были разделены на секции и установлены на колесных рамах – начали откатывать от башни в стороны и крепить к свисавшим с двух дирижаблей тросам – дирижабли, наверное, должны были унести их прочь.

У башни, но, вероятно, это все-таки была не башня, а что-то другое – может быть, ракета?! – осталась лишь одна секция. На самой её верхней площадке оставался последний монтажник, он что-то упаковывал в небольшой плоский ящик. Потом он поднялся с колен, подошел к башне (ракете?) и, раздвинув разрез в материи, с головой по плечи погрузился в него, – по-видимому, там ещё кто-то был: было вынуто из кармана куртки и передано внутрь что-то типа отвертки. Затем он отошел от покрывала башни и остановился почти на самом краю площадки.

Я узнал его по тому, как он посмотрел на солнце, – сильно запрокинув голову и отведя плечи назад, так, словно он хотел скинуть висящий за спиной рюкзак. Так могло получиться только у него, только он так смотрел на Солнце: маленькую стрелку напоминал он издали.

Знаками я попросил бинокль у седого пирата – величественного старика, стоявшего у колонны, через несколько человек от меня – и бинокль переключал ко мне по рукам. Я отладил резкость. Я не ошибался, нет. Это действительно был он.

«Дядя О-О-Ольме-е-с!» – закричал я, и, хотя это было немыслимо – триста метров шумящей толпы разделяло нас, он обернулся на мой крик! Он смотрел в мою сторону, напрягая шею, словно действительно пытался кого-то разглядеть. Напарник, выскользнувший из-под покрывала, окликнул его. «Да, да, сейчас!» – наверное, ответил ему дядя Ольмес. Он снова взглянул в мою сторону. И на всякий случай в знак приветствия поднял руку. Его снова позвали. Дядя Ольмес отвернулся, подобрал с пола свой ящичек, и они с товарищем начали спускаться по лесам вниз, прыгая с одной площадки на другую.

Они достигли земли и помогли откатить секцию в сторону.

Потом дядя Ольмес – я старался не терять его из виду – обошел основание башни и скрылся за ней. Он торопился – это было заметно, но снова, прежде чем зайти за башню, завернуть за круглый её бок, куда тянулись и толстые жилы синих и черных проводов, он оглянулся в мою сторону и снова поднял руку вверх – пять растопыренных пальцев на ладони – словно верил, что кто-то ждет этого. Но, может быть, это действительно предназначалось мне! Быть может, он знал, что я должен буду быть в этом городе, на этой площади?!

Я поднял руку в ответ!

И вдруг почувствовал: ещё немного – и я пойму, что здесь происходит.

Я вдруг подумал, что, может быть, всё обстоит совсем по-другому.

Нет никаких долгов, расплат, нет никаких вестей – никто ничего не получал, не было кораблекрушений – просто все лишь вдруг разом поняли, смогли, провалились к одной простой истине, к которой каждый шел разбитыми надеждами и бессонными ночами, когда удаленность звезд не была таким серьезным пре-



пятствием, и это была очень простая мысль, но которую каждый должен был открыть сам, в своем сердце – и я видел: им это удалось. И эта простая истина сняла, наконец, унижительный груз болей, обид и потерь, и главное – осветила будущее, которое – я смог лишь только почувствовать это – было совсем иным, принципиально иным.

И тут, на вдохе, как поток ветра, я будто от кого-то услышал, разобрал те начальные слова: «Каждый человек и все люди есть...» Какое-то общее движение резкую перемену ощутил я внезапно, и это вернуло меня на площадь. Было тихо. Никто не говорил, все глядели на Башню. Вокруг неё образовался круг, метров в пятьдесят радиусом, в котором никого не было – люди расступились, отошли от Башни.

Огромное её покрывало дрогнуло, слегка колыхнулось, рябь пробежала по нему.

«Сейчас, – сказал я себе, – сейчас, – загадал я, – сдернут покрывало – и я узнаю остальные слова».

И оно дрогнуло вновь. И еще раз. Бесшумно разошлось где-то вверху и стало плавно оседать, обнажив тонкое серебристое острие....

Будто кто-то взорвал магний у самого моего лица: сноп обжигающего, нестерпимого света ударил мне в глаза, заставив вскрикнуть. Вспышка, а потом всё поглотилось красной тьмой, в которой уже не было никаких слов.

Я лежал в тёмной, слабо освещенной висевшей посреди двора лампой комнате. Мне было всего пять лет. Но во мне не было страха. Я всё ещё был там – в том городе, на той площади. Хотя уже не видел её. А лишь услышал – мне не могло этого показаться – радостный взрыв голосов, правда, уже приглушенный настолько, что разобрать что-либо было смешно пытаться.

Я лежал с открытыми глазами, начиная понемногу выделять из темноты стол, этажерку, сундук, стоявший за ней. Я лежал так еще какое-то время, когда услышал, как кто-то вдалеке, за окном, рассмеялся воркующим грудным волнующим звуком; я различил и голоса – тихие, еще на грани перешептывания – но они приближались, и скоро я услышал, как застучали по асфальту двора каблочки Аннели Нукушевой, шелест её платья, цоканье подкованных ботинок Заунда Ле и шаркающую походку дяди Ольмеса.

Они остановились почти под самым моим окном, не дойдя до двери подъезда трех шагов. Впрочем, я не знаю, как они стояли точно.

– Что ж, будем прощаться, – сказала Аннели Нукушева.

– Будем прощаться, – поддержал её дядя Ольмес – мы жили в одном подъезде с Аннели.

– Да, надо прощаться, – сказал Заунд Ле, но не уходил – ему надо было еще идти вверх к своему дому.

– Самое трудное – это прощаться, – сказала Аннели после короткого молчания.

Наверное, она улыбнулась, потому что я вдруг почувствовал, что мне тоже хочется улыбнуться – так всегда бывало со всеми, когда она улыбалась.

– Самое трудное, как это ни странно, это достучаться до человеческого сердца, – сказал дядя Ольмес тихо, и хотя в его словах была горечь и грусть, я почувствовал, что он тоже улыбался – он не мог не улыбнуться.

– Да, именно так, да! – подтвердил Заунд Ле, хотя было ясно, что сначала он хотел сказать что-то совсем другое.

– Так, до завтра, – сказала Аннель, – Ольмес, спасибо за ваш интересный рассказ!

– Совершенные пустяки, – ответил дядя Ольмес, – до завтра, Аннель!

– До свидания, Аннель, – сказал Заунд,

Скрипнула дверь, но больше я ничего не услышал – ночью Аннель всегда поднималась по лестнице абсолютно бесшумно, как кошка, ступая по самым краешкам ступенек.

Дядя Ольмес и Заунд Ле все еще продолжали стоять во дворе. Чиркнула спичка, и в форточку потянуло папиросным дымом – Заунд не выдержал и закурил.

– Ольмес, – спросил он, – что же ты всё-таки имел в виду?

– В сущности, немного, – ответил дядя Ольмес, слегка растягивая слова. – Легко обрадоваться веселой россыпи луга – это ничего не требует, но оттого, наверное, и немногого стоит. Сумей улыбнуться невзрачному цветку на пыльной обочине! Всякому не дошедшему до вершины.

Заунд Ле молчал.

– Ты и вправду во все это веришь? – спросил он потом вдруг без всякой связи с предыдущим.

– Конечно, – ответил дядя Ольмес, – мы можем еще поговорить об этом.

– Да, надо будет обязательно поговорить! Я вот тоже думаю... – мечтательно отозвался Заунд.

В комнату снова пахнуло папиросным дымом.

– Ну, ладно, пойду, – сказал, наконец, Заунд Ле, – надо будет еще кое-что понаблюдать... Кстати, вчера прекрасно наблюдал Сатурн, – Заунд имел в виду недавно приобретенный любительский телескоп.

– Ну, успеха, – отозвался дядя Ольмес, – не забудь только протереть стекла – наука уже не раз страдала от этого.

Послышался шум – Заунд Ле уходил к себе напрямик, через палисадник, распугивая собиравшихся там котов.

В комнате дяди Ольмеса щелкнул выключатель.

«Расчёт причинных цепей» – он всегда листал перед сном эту потрепанную книжку.

Так что я был уверен, я почти наверняка знал, что дядя Ольмес, стоявший рядом с нами у вытоптанного газона, рядом со мной, Аннель и Заундом Ле, лишь только находится с нами, существуя на самом деле как бы параллельно нам, не затрагивая нас, находясь по-настоящему совсем в другом месте, забираясь по ступеням своих ассоциаций всё выше и выше, туда, где мы – я, Аннель, Заунд, существовали тоже: жили, ходили, смеялись вместе с дядей Ольмесом, но не подозревали об этом. И вряд ли могли проникнуть туда без его помощи, откуда он возвращался к нам во время перерывов матчей, когда футболисты шумно пили воду и, пользуясь случаем, пререкались с судьей. Но и в эти минуты он старался не вступать в наш разговор, оставаясь сосредоточенным, словно припоминая или удерживая в памяти то, к чему он хотел бы вернуться, когда нас снова захватит футбол. Я не сомневался, что так оно и было – он никогда не знал счета, с которым заканчивалась игра. Что может быть проще!

И то, что произошло через две недели после того вечера, только подтверждало мою уверенность: будучи там, оттуда, было естественнее и легче всего сделать то, что он и сделал, поразив всех. И возможно, там, в параллельном мире дяди Ольмеса, мы бы вовсе не были бы удивлены, а поступили так же, как и он: «счастье, что двери уже приоткрыты» – тихо проронил тогда дядя Ольмес.

Смысл этих слов остался тогда не понят.

В тот день на стадионе собралось особенно много народа.

Должен был разыгрываться Кубок Города.

В этих случаях еще с утра развешивались (втыкались в металлические торчащие из земли трубки) флаги всех, какие только были в наличии, спортивных обществ, и появлялся неизменный, существовавший в единственном экземпляре транспарант «ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ!» Летом он курсировал между стадионом, борцовским залом и волейбольной площадкой, а ближе к зиме его крепили на хоккейной коробке.

Около полудня приезжала скрипучая автолавка, с которой торговали пирожками с капустой, с мясом и рисом, кексами и прочим; разжигался гигантский самовар, а главное – продавали дефицитный лимонад. Его делали в другом городе и привозили к нам на поезде исключительно безлунными ночами, чтобы не допустить разрушения специфической ароматической добавки гравитационными лучами Луны – так объяснял мне дядя Ольмес редкость его завоза.

Вскоре становилось ещё оживленнее и праздничнее – духовой оркестр наяривал «И на Марсе будут яблони цвести».

Потом приезжали и сами «участники соревнований».

Поскольку в городе не было других команд, то это были те же «руровцы» и «фабриканты», отвлеченные от чемпионата города – бесконечной серии воскресных матчей.

Первыми прибыли победители Кубка города прошлого года: зелено-полосатые – обогатительная фабрика. Они привезли с собой и кубок – тяжеленный керамический конусовидный сосуд на ножке с маленьким изображением бегущего, замахающего по мячу футболиста, – мне так и не удалось рассмотреть его вблизи.

Кубок был установлен на стол, накрытый красной скатертью (она была в одном комплекте с транспарантом). Солидные люди в галстуках тщательно стерли с кубка рукавами пиджаков пыль. Потом подняли его в воздух и показали всем – раздались жидкие хлопки: народ ещё не разошелся.

– Кто выиграет – едет на Кубок области! – возбужденно сообщил нам Рихард Карлович Нурлиц, здороваясь с дядей Ольмесом и Заундом Ле, а Аннель он, галантно поклонившись, поцеловал ручку. – Понимаете, мы добились, мы этого добились!

Все кругом только и обсуждали эту новость – это было впервые: участвовать в Кубке области.

– О, да, это можно сравнить только с выходом рыб на сушу, не правда ли, Ольмес! – воскликнул восхищенный найденной параллелью Заунд Ле.

– Да, пожалуй, даже с этапным достижением нашего уважаемого предка, – ответил ему дядя Ольмес – он без энтузиазма отнесся к этому взбудоражившему умы сообщению.

Хорошо, его слов не слышал Рихард Карлович, – одетый в новенькую украинскую косоворотку, мелькал он среди болельщиков.

Там же сновал и фотокор городской многотиражки «Знамя за Труд», бывший одноклассник Заунда Ле Тулеген Байгужин, прозванный за редкую убежденность в правоте идеи неделимости электрона Неделимым. Месяц назад его назначили завотделом спорта и культуры. Неделимый прокричал нам что-то и помахал рукой, но мы не расслышали.

«Руровцы» прибыли только за четверть часа до начала игры, когда зелено-полосатые уже вовсю раскатывали мячи по полю.

– Да не с-специально, ей б-богу, Алек-к-ксей Михалыч, – повинно объяснял сидящим за столом в президиуме избранный капитаном защитник Отец, – автобус не з-заводелся... Сц-цепление к-как назло п-п-полетело...

– Ладно, ладно, – выговаривал ему, стараясь быть суровым, Песковец, официальный представитель команды, – разминайтесь, потом разберемся. Ты, только это, Отец, чтоб без дыму... – представитель пристально, как в кино, посмотрел Отцу в глаза, – сам понимаешь: такой день... Кубок... неспортивно, в конце концов.

– Что вы, Алексей М-Михалыч, уп-паси бог, – довольный, что так легко отделился, заверил его гигант, – в-выиграем, в-вообще брошу эт-ту г-г-гадость!

Он тут же убежал к своим игрокам, с тревогой ждавшим исхода переговоров.

Уже заканчивали подбеливать линии, когда на поле выбежали младшие школьники с обручами и лентами – нет, я вовсе не завидовал им. Минут пять носились они по полю, ветер уволок две ленты.

Началась игра.

Зелено-полосатые сразу пошли вперед. Длинным диагональным пасом их «пятерка» вывела своего нападающего прямо к углу штрафной. Так был открыт счет – на второй минуте, кое-кто все ещё стоял у самовара. «Боже ты мой!» – прошептал вернувшийся на свое законное место Рихард Карлович.

Желтые – «руровцы» выглядели заколдованными по сравнению с молниями носившимися соперниками. Кинжальные проходы форвардов по центру перемежались рейдами хавбеков по краям. Ошеломленные «руровцы» отбивались кое-как, часто отправляя мяч просто за боковую. А обогатительная фабрика всё наседала и всё навешивала и навешивала мяч на одиннадцатиметровую отметку.

«Да что такое! – охнул на двадцатой минуте Рихард Карлович, а потом добавил неверяще: – Это ветер».

Но ветер был тут ни при чем. Как гипноз и оптический обман. Было очевидно, оптически ясно, что мяч уходит за лицевую над перекладиной, но вдруг, неожиданно изменив траекторию дуги, он как-то буднично-просто упал в ворота – это и был тот знаменитый «сухой лист», завезенный к нам, как оказалось позже, массажистом областной команды – тайное оружие, заготовленное «фабрикантами» специально к Кубку.

Они неторопливо, недоуменно разводя руками, возвращались на свою половину поля, будто и сами считали, что мяч залетел в ворота каким-то чудом – и в этом и было их коварство: третий мяч был как близнец похож на второй.

«Майн гот!!!» – только и крикнул тогда страшным голосом Рихард Карлович, до смерти перепугав сидевших в президиуме – он дышал им прямо в затылок.

Выполняли штрафной удар. Девятый номер зелено-полосатых, долговязый Гатауллин, с короткого разбега сделал навес на дальнюю штангу. Вновь по высокой дуге мяч ушел в воздух, и снова состоялось впечатление, да что там – все были просто уверены, что мяч пройдет по крайней мере в полутора-двух метрах над перекладиной.

И как в первый раз, будто проколотый, он резко скользнул за спину вратаря. Напрасно тот изумленно-долго ощупывал его, прежде чем передать судье – мяч был цел – если б кто знал, что Гатауллин, пропустивший до этого три игры, целый месяц отрабатывал близ пустынного террикона у старой бани этот секретный удар!

В перерыве в стане обогатительной фабрики вовсю заливалась гармошка.

Болельщики РУРа – мы находились в самой их гуще – хмуро разглядывали свои руки и недоверчиво, с опаской посматривали на развевавшиеся флаги – но, повторяю, ветер был ни при чем. «Сухой лист!».

Рихард Карлович, пробравшийся к игрокам, что-то с горячностью внушал им: двое массировали друг другу ноги, вратарь засунул голову в ведро с водой.

Как оказалось, Рихард Карлович, лихорадочно чертивший во время игры что-то в блокноте, сумел обнаружить органическую слабость в тактическом построении соперника – левый их полузащитник (Р. Васильев, № 7), подавая в первом тайме угловой, неудачно ковырнул ногой землю и с тех пор хромал.

Но этим советом «руровцы» воспользовались позже, а началось с того (никто не мог даже и предположить), что после свистка судьи начать игру двое их нападающих, сыграв между собой накоротке, отбросили вдруг мяч назад, и разбежавшийся всё это время почти от самых своих ворот двухметровый гигант Отец нанес мощнейший удар, заставив всех тут же вспомнить «смертельные» черные наколенные повязки футбольных легенд – мяч, как пуля, просвистел над полем и буквально впился в правый угол ворот «фабрикантов», выдернув часть крепивших к земле сетку колышков. Больше такого никогда потом не случалось, и так до конца осталось неизвестным, было ли это заготовлено заранее, или это был своеобразный экспромт, замешанный на неистовом желании отыгаться. Мнения разделились: по крайней мере, Рихард Карлович Нурлиц, весь перерыв крутившийся возле великана, комментировать этот эпизод упорно отказывался.

Заунд Ле прыгал как сумасшедший, барабаня кого-то по плечу.

Аннель, как я почувствовал по её несколько растерянному виду, даже не поняла, что происходит кругом – крики, аплодисменты, свист, кепки летели в воздух.

Я глянул на дядю Ольмеса – он был невозмутимо спокоен среди шквала вырвавшихся эмоций.

Игра после феноменально забитого гола началась не сразу. «Чаша стадиона гудела как улей – писало восторженное, но неопытное перо Талгата Байгужина, – гол, забитый на первой минуте второго тайма Степаном Кожемякиным, гол, которому невозможно подыскать аналога даже в истории мировых первенств, вдохнул в сборную команду рудника ускоренных работ силы, в корне изменившие ход встречи, и если бы, смело могу утверждать, не трагическая случайность, происшедшая за 40 секунд до конца основного времени, то...»

Так оно примерно и было: гвалт, поднятый болельщиками РУРа – Аннель Нукушевой пришлось даже зажать уши ладошками – мешал начать игру; несколько дюжих шахтеров в праздничных двубортных костюмах хотели было выскочить

на поле – качать Отца, но судья, издали заметивший их рывок, успел пресечь этот порыв.

Наконец, после нескольких безуспешных попыток унять расшумевшихся, президиум объявил через мегафон, что «если товарищи, болеющие за команду РУРа, не успокоятся, матч будет прекращен, и победа будет присуждена спортивному коллективу обогатительной фабрики со счетом 3:0».

«Чаша стадиона» (по Т. Байгужину) мгновенно, «как по команде», смолкла: допустить, чтоб не был засчитан такой! гол никто не мог.

Почти сразу после возобновления игры выяснилось, что гол Отца и почти латиноамериканский по накалу демарш шахтерской торсиды произвели на игроков обогатительной фабрики нечто вроде шока. Заунд Ле констатировал у них даже состояние «гrogги» 3-й степени.

Они стали ошибаться в простейших положениях, несколько раз отдавали мяч прямо в ноги сопернику; вообще – мяч отскакивал от них как от стенки. Лишь «пятерка» обогатителей, игрок с поразительной фамилией Отвертка, но почему-то больше известный под кличкой Шуруп, старался наладить хоть что-то осмысленное, но ему никто не мог помочь, а за крик на поле он заработал от судьи предупреждение. Гатауллин, которому почти не удавалось выбраться за свою половину поля, заправлял свои «сухие листы» в белый свет.

Выяснилось и второе: дефект, зафиксированный Рихардом Карловичем, действительно оказался ахиллесовой пятой зелено-полосатых. Прихрамывающий Р. Васильев (замены не разрешались) не успевал после атаки быстро возвратиться назад, а если оставался в обороне – не мог отобрать мяча. Так что атаки РУРа левым флангом становились все опаснее и опаснее. И это не могло не сказаться. «Гол назревал, – писала “Знамя за Труд”, – и он созрел!»

Перенервничавший защитник Цёмкин после углового срезал мяч в собственные ворота.

При счете 2:3 руровские болельщики снова активизировались, но с таким расчетом, чтобы не заработать еще одно замечание по мегафону. Они кричали как бы через тряпочку, всю силу своих чувств вкладывая в сокрушительные шлепки по спинам друг друга.

Я допивал лимонад, когда надо мной как будто что-то взорвалось – это сравняли счет. Шла тридцать третья минута второго тайма.

Шахтеры добавили ещё на полтона, всё ещё с оглядкой на красный стол президиума – но шум стоял страшный.

И только стан обогатительной фабрики был тих, как лес перед бурей.

Игра возобновилась.

Мимо нас, тяжело дыша, пробежал Отвертка. Майка его от пота была цвета темной переспелой травы, мокрая челка спадала на глаза, и время от времени он резко вскидывал голову вбок, взбрасывая волосы в сторону; лицо его осунулось, было злым – он злился на своих, он почти охрип, пытаясь воодушевить их, но это было, по всей видимости, бесполезно: было похоже, что они уже сдались.

Он пробежал вперед по краю, поднял обе руки вверх, получил пас и, уже ни на кого не надеясь, один рванулся в атаку, в сущности, безнадежную: четверо «руровцев» дежурило перед ним.

– Ольмес! – пытаюсь дозваться, почти прокричала Аннель Нукушева.



Дядя Ольмес наклонил голову, и Аннель что-то сказала ему на ухо, указывая рукой на Отвертку. Дядя Ольмес понимающе кивнул и, проводив глазами «пятерку», улыбнулся. Потом он тоже что-то сказал Аннель, тоже на ухо – я, разумеется, не услышал.

Как был забит обогатительной фабрике четвертый гол, я снова не увидел – Рихард Карлович неожиданно вырвал из блокнота лист, сложил его пополам и попросил меня отнести его в президиум.

Я как раз объяснял, от кого и почему передаю записку, но мои объяснения потонули в реве толпы.

«Победа!!!» – кричал Рихард Карлович, вторым выскакивая на поле. Первыми там уже были дождавшиеся своего звездного часа те, в полосатых двубортных костюмах: безошибочно почувствовали они, что теперь несмотря ни на что отменить результат матча никто не будет в силах.

Рихарда Карловича, «двубортников» и ещё человек десять других, выскочивших следом, удалось выпроводить с поля только минут через пять – после того как они перецеливали всю руровскую команду.

Представитель обогатительной фабрики заявил устный протест, но за красным столом только развели руками – действительно, что они могли сделать?

Зелено-полосатые начали с центра поля.

Они уже проигрывали 3:4.

До конца игры оставалось каких-то три с половиной минуты. Рихард Карлович будто блестел. Я сообщил ему, что передал его записку, и что послание прочли. «Отлично, – ответил он, – отлично! Всё как нельзя лучше!»

Уже праздновали победу. Кругом обнимались, свистели, улюлюкали; кто-то хрипел с надрывом: «РУР, дави!» Сзади начинали напирать – все только и ждали финального свистка, чтобы вырваться на поле.

Каким-то чудом сквозь бушующую толпу к нам протолкался Байгужин: пиджак у него был весь разворочен, галстук болтался на спине. Свой «ФЭД» он держал руками над головой. Даже не отдышавшись, он сообщил нам, сияя, что уже решили, кто стал лучшим игроком матча – Степан Кожемякин! Отец!

Как раз в это время стали скандировать: «Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!» «Руровцы» отобрали мяч и, дожидаясь свистка судьи, удерживали его, распасовывая между собой в середине поля.

Игра заканчивалась.

Я принялся высматривать лучшего игрока. Замыкая линию обороны, он стоял недалеко от своей штрафной, почти по центру, и я точно видел: курил в кулак! Победителей не судят! Синеватый дым разгонял он левой рукой.

Я видел – на противоположной стороне, как раз напротив, музыканты начали собираться в кучу, поднимать с земли и расчехлять свои трубы. И Заунд Ле воскликнул: «И пушки славу грохотали! И бил наш барабан-н-н-н!!!»

Он сунул мне что-то в руку. Это была карамель. Обертка прилипла к конфете и не отдиралась.

Но я все равно ничего не пропустил и видел от начала и до конца, как случилось то, чему, наверное, и суждено было случиться, ибо в самом деле – это ведь и произошло в конечном итоге.

«Руровцы» перепасовывали мяч между собой – они не шли вперед, а лишь контролировали мяч у себя, образовав в центре поля нечто вроде гигантского

круга, внутри которого рыскали, пытаясь отобрать мяч, зелено-полосатые. Круг, разумеется, не был чем-то постоянным, игроки в желтых майках менялись местами, смещались к центру, перебежали с края на край, так что мяч описывал то треугольник, то квадрат, то сложную многогранную фигуру. Шла уже, в сущности, командная игра в «лисичку-собачку», РУР держал мяч у себя, и у них это неплохо получалось. Один раз они, правда, всё-таки потеряли его – мяч выскочил в аут, но очень для них удачно – от ноги игрока обогатительной фабрики.

«Руровцы» не спеша вбросили его из-за боковой и снова закрутили свою карусель.

Мяч был у них уже две – две с половиной минуты.

Играть оставалось минуту, может, чуть больше.

Фабрика перехватила мяч сначала на дальнем от нас краю поля, но ненадолго: РУР отобрал мяч, но потом после пяти-шести передач кто-то из игроков снова ошибся, и мяч перешел к зелено-полосатым. Это было уже недалеко от нас. Игрок, отобравший мяч, не пошел вперед сам, а сделал поперечную передачу в центр, косо вглубь своей половины поля. Мяч летел к одному из защитников, и тот, казалось, даже не посмотрев куда, с ходу отправил его вперед. Но это был рассчитанный пас. Просто в гуще «руровцев» не сразу отыскивался игрок обогатительной фабрики. Две поднятые вверх руки держал он над головой.

Мяч был послан удивительно точно. Игрок мягко принял его на грудь, развернулся, и я ясно различил на его спине цифру «5». Это был Отвертка. Каким-то чудом он успел – сам отскочив вправо – протолкнуть мяч между ног набегавшего на него руровского защитника. Потом, сделав рывок, он догнал мяч и, набирая скорость, сильно, метров на пятнадцать, пробил его себе на ход мимо стоявшего перед ним защитника. Отвертка бежал на предельной своей скорости. Еще один «руровец» летел ему наперерез, но Отвертка оказался у мяча чуть раньше, снова сильно пробив его перед собой, успев перепрыгнуть и не упасть через «руровца», пытавшегося в подкате выбить мяч у него из-под ног.

Пробитый вперед мяч летел теперь точно на Отца!

Но странно! – тот вовсе не обращал на него внимания, поглощенный чем-то своим, стоя к катящемуся уже на излете мячу вполоборота, ковыряя бутсой землю. Мяч остановился позади него всего лишь в полутора шагах, Отвертка бежал к нему не по прямой, а по широкой дуге, так, чтобы как можно дальше оббежать гиганта, который всё ещё не замечал лежащего за спиной мяча, продолжая приминать что-то ногой.

«Загаптывает бычок!» – осенило меня как удар.

– Степан! – простонал кто-то в толпе. – Отец!!!

Но было поздно. Отвертка уже достиг мяча, и, наверное, опасаясь, что время матча может истечь или что Отец сумеет ему как-то помешать, пробил почти сразу. Удар получился на редкость хлестким, выбегавший навстречу вратарь, возможно, даже и не заметил, где прошел мяч: слева или справа? – мяч прошел справа.

Так случилось то, что Талгат Байгужин, втайне болевший за РУР, назвал трагической случайностью – фабрика сквитала счет, и у шахтеров была отнята такая близкая уже победа.

И, наверное, гробовая тишина наступила точно в тот момент, когда мяч пересекал линию ворот – многие потом утверждали, что слышали шелестящий звук

его соприкосновения с травой, то, как он потом раз пять подпрыгнул в углу, в конце безжизненно стихнув.

И в этот момент, когда многие еще только начинали осознавать произошедшее, чуть раньше, чем раздалась трель судейского свистка, прямо надо мной, вверху, в той абсолютной тишине, кто-то несколько раз хлопнул в ладоши.

Потом, через несколько лет, когда мы уже жили в другом городе, я вычитал из газет о подобном случае.

Он произошел в Лондоне, в шестьдесят шестом году, во время финального матча чемпионата мира, в матче Англия – ФРГ. Англичане вели 2:1. На трибунах уже пели «Когда святые входят в рай», когда за тридцать секунд до конца игры немец Вебер сравнял счет. И тогда там, во внезапно наступившей тишине, все вдруг отчетливо слышали, как в королевской ложе прозвучали аплодисменты. Истинный джентльмен, герцог Эдинбургский аплодировал немецкой команде.

Но это случилось только через несколько лет. Совсем в другом месте.

А поскольку мы стояли не на стадионе «Уэмбли», и аплодировал вовсе не герцог Эдинбургский, то чуть было не произошла самая обыкновенная драка с мордобоем. Был уже брошен зажигательный клич «Бей гада!», и кто-то благодарно-услужливо подбавил: «Так ему, предателю!» И только благодаря вмешательству Рихарда Карловича Нурлица, которого после отдаления ноги уважали почти как бокового судью, «матч, к торжеству истинных ценителей игры, не был омрачен фактом массового рукоприкладства» – за эту фразу Талгат Байгужин был на три месяца отстранен от заведования отделом спорта и культуры.

И все-таки, когда мы уже почти выбрались из толпы, в самый последний момент, сквозь лес ограждавших дядю Ольмеса рук – сам он улыбался и даже и не думал защищаться – продрался чей-то огромный кулак, угодив прямо в его переносицу. Разломив пополам хрупкие пластмассовые очки.

– Ерунда, – говорил нам дядя Ольмес, успокаивая нас, промокая платком Аннель все-таки выступившую кровь, – это сущая ерунда, я их почино. (Он, действительно, склеил их назавтра БФом.)

– В этой игре есть борьба, жизнь. Это прекрасно. Но пока она разъединяет! – говорил он, глядя на нас непривычно пристальным взглядом: в очках его взгляд был совсем другим. – А что будет, когда объединит? А ведь это обязательно будет! Непременно произойдет!

Он вскинул голову и обернулся через плечо на уже клонившееся к закату солнце – не знаю, зачем ему это потребовалось сделать: может быть, чтобы скрыть от нас вдруг увлажнившиеся глаза, не знаю, но в этот момент я вдруг окончательно поверил: да! именно он стоял на верхней площадке, там, возле той загадочной башни, во сне.

Рихард Карлович понуро плелся чуть позади нас, отставая ровно на один шаг. Он дошел с нами до развилки дорог. Там он свернул к себе, вправо, вяло махнув на прощанье рукой.

Байгужин отстал еще раньше: ему надо было досматривать матч – было назначено дополнительное время. (Оно закончилось вничью, но по пенальти все же победила обогатительная фабрика – 9:8. Она и поехала на Кубок области, правда, неудачно, совсем неудачно.)

Мы шли домой. Но потом, у моста, решили свернуть и посидеть у речки. Дядя Ольмес все время шутил, стараясь нас развлечь. Он вспоминал разные смешные случаи, связанные с его службой в армии, и другие, которые произошли когда-то с нами или с нашими знакомыми, – мы знали них.

И ему удалось развеселить нас и отвлечь от того, что случилось.

Мы тоже начали что-то вспоминать, а потом все вместе стали придумывать, как если бы Заунд Ле вдруг переоткрыл, что Луна сделана из сыра...

Потом мы сидели у себя во дворе. Заунд Ле вытащил мандолину, Аннель тихонько напевала.

Мимо нас, возвращаясь, проходили болельщики. Они проходили почему-то потупясь и стараясь пройти как можно быстрее.

Мы сидели в беседке допоздна и, когда уже стало почти совсем темно, вдруг у самых сараев, там, где кольцевая асфальтовая дорожка, опоясывающая двор, заслонялась деревьями, мелькнуло что-то светлое, почти светящееся. И это светящееся пятно приближалось к нам из крошечных сумерек, пока, не дойдя до нас пятнадцати шагов, не юркнуло в первый подъезд нашего дома.

Но мы узнали его. Это был Рихард Карлович Нурлиц. Голова его была обрита совершенно наголо.

Через какое-то короткое время он так же быстро выскочил из подъезда. Так и осталось загадкой, к кому он заходил. Он умчался, даже не обернувшись, хотя мы звали его.

Чуть позже – мы даже не успели опомниться – мы услышали характерный шум протискивающегося сквозь металлическую ограду Байгужина – чередуясь с кирпичными столбами, она тянулась от нашего дома к соседнему. Собственно, все дело было в голове Неделимого: если у всех она проходила прямо, то Байгужину приходилось поворачивать свою на девяносто градусов, устанавливая ее поперек ограды, и только тогда, ухом вперед, она проскальзывала меж прутьев.

Наконец, он подошел к нам, как всегда с ворохом последних новостей и слухов. Он-то и сообщил нам, что в записке Рихарда Карловича, которую я передал в президиум, было сказано: «Товарищи, прошу быть свидетелями. РУР забьет еще один гол и победит со счетом 4:3. Это произойдет сейчас!!! В случае, если этого не случится, – решусь на крайнее. С уважением, Р. К. Нурлиц».

Вот так и закончился тот вечер. Неделимый все говорил и говорил, распалаясь. А я заснул.

Дядя Ольмес – можно было не пользоваться подзорной трубой – был уже почти у самого дома. Ему надо было только взобраться по небольшому откосу на дорогу и перейти её. На секунду я потерял его из виду: он попал в область геометрической тени откоса. Но потом показалась его голова, плечи и, наконец, упиравшись рукой в колено, он выбрался на дорогу. И тут же широко улыбнулся и замахал рукой. Можно было не сомневаться, кому это предназначалось – Аннель Нукушевой. Была у нее такая привычка: читать книжки, сидя на подоконнике.

Дядя Ольмес пережидал, когда проедет грузовик с парой прицепов, и показывал знаками: сейчас, сейчас он будет во дворе!

Он уже начал переходить дорогу, когда от него отделился, будто оторвался от дерева, маленький белый квадратик. Запоздалая воздушная волна от уже удалявшихся прицепов сдунула его в кювет.

Я столкнулся с дядей Ольмесом у самых наших дверей. Он потрепал меня по голове и проскочил домой – торопился переодеться.

Но мне это было только на руку. Я выскочил во двор, за ворота и все-таки успел догнать бумажный квадратик у самых зарослей лопухов.

Это был красивый глянецовый лист, величиной с открытку, вырванный из перфорированного блокнота – верхний его край был усеян зубчиками, как у марок.

С одной стороны лист был абсолютно чист. На другой было всего несколько строк. Они шли сразу от перфорированного края, наверное, это был конец какой-то записи. Вот он: «...есть – и я рад, что это наконец удалось доказать строго – грани одного магического кристалла, волны одного океана, листья одного дерева!»

Ниже, мельче – мне едва удалось разобрать – шло столбиком (и это заинтриговало меня больше):

Веря, что в вечной цепи перемен  
Станет зеленым заржавленный ельник,

Я отказался

От мысли, что вторник

Как бы заглатывает

Понедельник.

Я несколько раз прочел эти строки. Сначала по слогам, потом быстрее.

Я не смог понять тогда, о чем идет речь.

Цепь перемен я воспринимал, как велосипедную.

Но что-то я все-таки почувствовал – то, что исходило от этих слов независимо от моего понимания их. Но смутно. Ненадолго.

Часа два я таскал с собой этот маленький глянецовый листок, чтобы вернуть его дяде Ольмесу. Но он уже успел куда-то исчезнуть вместе с Аннель Нукушевой. Наверное, в городской парк – Заунд Ле гигантскими скачками бежал в ту сторону.

Я носил лист с собой еще какое-то время, а потом склеил из него небольшую стрекозу, которая удивительно долго держалась в воздухе.

К вечеру я обменял ее на плитку гематогена и осколок зеленого оконного стекла.

